

Неприкосновенный запас. 2008. №3.

Юрий Зарецкий

История, память, национальная идентичность

В этой статье пойдет речь о трех понятиях, вынесенных в ее заглавие: истории, памяти, национальной идентичности. Точнее, об изменениях значений этих понятий в последние десятилетия и о различных связях между этими значениями. Ее цель -- достаточно безрассудная -- состоит в том, чтобы попытаться кратко очертить некие общие рамки возможного осмысления национальных историй в сегодняшнем социально-гуманитарном знании.

Начнем с истории. Если изначально это древнегреческое слово означало «представление результатов исследования», то сегодня оно чаще всего употребляется в трех значениях. Первое из них -- прошлое, то есть один из составных элементов закреплённой в европейских языках и европейском сознании триады: прошлое--настоящее--будущее, с помощью которой люди структурируют время[1]. Второе -- рассказ о каком-то событии или событиях. Наконец, третье и главное значение -- наука, изучающая прошлое.

Тут следует заметить, что не только в обыденном сознании, но и в научном, эти три значения часто смешиваются[2]. Так, например, выражение «знать историю» чаще всего одновременно подразумевает и знание о том, что имело место в прошлом, и знакомство с сочинениями историков. При этом не обращается внимание по крайней мере на три важных обстоятельства: во-первых, что создававшиеся историками образы прошлого на протяжении столетий не раз драматически менялись; во-вторых, что в разное время разные группы историков обращались к разным сторонам этого прошлого (отсюда различные направления в историографии: политическая история, социальная история, экономическая история, история идей, история ментальностей и так далее); наконец, в-третьих, что у современных историков, так же как и у их предшественников, трудно обнаружить что-нибудь, похожее на общность взглядов на прошлое[3].

Первое значение слова история -- то есть история как прошлое -- наиболее очевидно и едва ли требует каких-то специальных комментариев. Мало кто возразит, что в представлении сегодняшнего европейца это расположенные на временной оси события, которые уже произошли, то есть нечто, что было когда-то, чего нет сейчас и чего никогда больше не будет.

Второе значение (история как рассказ), напротив, нуждается в пояснениях. Долгое время считалось само собой разумеющимся, что наше научное знание о прошлом существует в виде связного повествования. Но вот начиная с 1970-х годов эта очевидность стала предметом пристального внимания ученых, «открывших», что посредниками между прошлым и историком, его изучающим, являются язык и текст. Во-первых, стало очевидно, что прошлое становится доступным историку преимущественно благодаря сохранившимся рассказам о нем, оставленным современниками; во-вторых, что результаты исследований историков тоже представляют собой рассказы. То есть обнаружилось, что наши научные знания о прошлом по преимуществу представляют собой описания последовательностей событий (нарративов), составленные на основе других описаний.

Дело, однако, в том, что, если верить философам и лингвистам (от Витгенштейна до Деррида), никакая языковая конструкция не является нейтральным передатчиком

значений: она всегда подчиняется определенным законам и несет в себе определенные культурные «матрицы» смыслов. Всякое использование языка, следовательно, неизбежно подчиняется этим предзаданным смыслам. Сказанное считается особенно справедливым в отношении развернутых нарративов, в частности, исторических. Так, Хейден Уайт, проанализировав тексты, созданные крупнейшими историками XIX века -- Мишле, Ранке, Токвилем, Бурхардтом, Марксом и другими, -- выявил четыре «архетипа», лежащие в основе их построений: роман, комедия, трагедия и сатира. По Уайту, любой историк невольно стоит перед выбором одного из этих четырех способов повествования, причем делает свой выбор не из стремления к постижению исторической истины (хотя он и может искренне верить в то, что показывает, «как было на самом деле»), а руководствуясь моральными или эстетическими соображениями[4]. В итоге, традиционно приписываемая историкам роль производителей объективных научных знаний о прошлом, как и сама возможность постижения прошлого, оказались поставленными под сомнение. Стали все чаще звучать заявления, что сегодня -- как это уже было до формирования в XIX веке *historische Wissenschaft* -- историю следует относить не к области научных знаний, а к изящной словесности[5].

История как рассказ, таким образом, оказывается тесно связанной с историей как наукой, изучающей прошлое. Об изменениях, которые произошли в последние десятилетия в понимании сути этой науки, ее задач и возможностей, следует сказать несколько подробнее[6].

Прежде всего, можно заметить, что сегодня понимание «исторической науки» (ее сейчас обычно обозначают менее амбициозно -- «историческое знание») все чаще обособляется от двух ее основных постулатов, сложившихся в XVIII веке. Первый: что история изучает процесс развития человечества, который имеет общую логику и направленность. Второй: что этот процесс поддается объективному (=научному) познанию[7]. Одновременно приобретает особую значимость мысль о социальной обусловленности исторического знания.

Речь идет не о банальной формуле влияния общественных интересов, государственной политики, личности историка и тому подобного на историческую науку -- такого рода влияние всегда так или иначе признавалось. Имеется в виду, что сам образ прошлого, как таковой, в историографии не может быть «объективен» в принципе. Он является либо его «реконструкцией» (в лучшем случае), либо вообще «конструкцией», имеющей мало отношения к «подлинному» прошлому. При этом признается, что в обоих случаях этот образ, во-первых, напрямую зависит от властных отношений в обществе и, во-вторых, является предметом манипуляций сил, имеющих своей целью достижение тех или иных политических результатов в настоящем. О все большем признании такого рода обусловленности исторического знания можно судить по вторжению соответствующих тем в повестку дня крупнейших международных форумов историков. Одна из основных тем XIX конгресса исторических наук в Осло (2000), например, была сформулирована следующим образом: «Использование истории, злоупотребление ею и ответственность историков»[8]. Эта формулировка подразумевает не только то, что продукция, производимая историками, является не «чистым» знанием, а знанием, зависимым от конкретных социальных и политических обстоятельств. Она имеет в виду, что это знание неизбежно так или иначе «используется» властными силами, причем нередко во вред обществу, что приводит к таким печальным следствиям, как войны, геноцид, межэтнические конфликты и так далее. Наиболее часто приводимый пример такого использования -- роль ученых XIX века в формировании идеологии и практики национализма. «Научно обосновав» три важнейших характеристики нации: восходящее к

далекому прошлому единство языка, территории и культуры, они создали историческую «смесь» огромной разрушительной силы, не раз использовавшуюся на протяжении XX века (тут достаточно упомянуть о двух мировых войнах) и продолжающую использоваться в разных частях Европы в наши дни (наиболее известный сегодняшний пример -- события в Косове и вокруг него).

Важной характерной чертой современного исторического знания является также историоризация (и одновременно проблематизация) целого ряда привычных понятий. Это историоризирующее/проблематизирующее направление в историографии породило в последние двадцать--тридцать лет большую серию исследований, посвященных самым разным темам. В качестве примера тут можно привести популярную монографию известного американского историка Патрика Гири «Миф о нациях: Средневековое происхождение Европы»[9]. Главная мысль автора (правоту ее он доказывает на примере становления идеи «нации» в европейской науке XIX века) состоит в том, что представления миллионов современных европейцев, гордящихся своим происхождением от кельтов, франков, галлов, гуннов, сербов и так далее, основываются на иллюзиях. Соответственно, задача его исследования -- показать, как эти иллюзии возникли, то есть «деконструировать» миф об онтологичности нации и представлений о ней как о вечной и неизменной реальности. Другой характерный пример -- не так давно переведенное на русский язык исследование Ларри Вульфа «Изобретая Восточную Европу»[10]. В нем на многочисленных примерах показывается, что в привычном для нас делении европейского континента на Западную и Восточную Европу нет ничего «естественного»: до XVIII века такого деления просто не существовало. Концепция отдельной, «отсталой», Европы появилась только в эпоху Просвещения, когда его деятели с высот своих знаний стали снисходительно-любопытствующе обозревать окружающий их мир. Наконец, к этому же историоризирующему и проблематизирующему направлению относится и только что появившееся на русском языке исследование немецкого историка Фритьофа Бенямина Шенка, посвященное функционированию культурной памяти об Александре Невском[11]. Главный вопрос, который ставит в нем автор (нужно заметить, для нашей историографии звучащий довольно непривычно), не то, каким был его герой «на самом деле», а «как изменялся образ Александра Невского в период более чем семисотлетней его истории»[12].

Известный французский философ Поль Рикёр (1913--2005), говоря в одной из своих последних лекций об общих сдвигах в историческом знании XX века, определил их емкой формулой: «историю событий сменила история интерпретаций». Разумеется, эта формула претендовала не столько на полноту, сколько на обозначение общей тенденции.

Второе понятие, о котором пойдет речь, память (точнее, социальная память), тесно переплетено с понятием «история». Его введение в научный оборот и начало изучения социальной памяти относят к 1920-м годам и связывают с именем Мориса Хальбвакса[13]. Для Хальбвакса память является социальной конструкцией, создаваемой в настоящем. То есть она понимается не как сумма воспоминаний отдельных людей, а как некое коллективное культурное произведение, развивающееся под влиянием семьи, религии и социальной группы через языковые структуры, повседневные жизненные практики и общественные институты. То есть она «конституирует систему общественных конвенций, в рамках которой мы придаем форму нашим воспоминаниям»[14].

Работы Хальбвакса, оказавшиеся особенно востребованными в последние десятилетия XX века, положили начало новому междисциплинарному направлению исследований [15]. Социальная память, ее формирование, а также отношение между социальной памятью и историческим знанием стали темой широких научных и общественных дискуссий. В этих дискуссиях следует обозначить одно важное различие в позициях участников. Если для Хальбвакса и некоторых его последователей социальная память и историческая наука выступают как антагонисты (историческая наука начинается там, где заканчивается коллективная память и наоборот), то новое поколение ученых склоняется к сближению этих понятий. Как замечает один из них, «когда постулируют дихотомию коллективной памяти и истории, упускают социальный и культурный контекст, в котором находится сам историк» и приписывают историческому знанию объективность и внеисторичность, которых оно вряд ли заслуживает.

«Историки работают с некоторой целью -- по существу затем, чтобы формировать коллективную память исторического цеха и, в конечном счете, общества, в котором живут. Ученое разыскание стремится к тому, чтобы преобразить коллективное понимание прошлого» [16].

Как бы там ни было, но с 1980-х годов историки начали активное изучение коллективной памяти. Одной из самых известных и масштабных работ в этом направлении стал проект под руководством Пьера Нора «Места памяти» [17]. Предметом исследования в нем стали места, вещи и события, в совокупности составляющие материал, из которого конструируется коллективная память во Франции. Этими «символическими объектами» стали отдельные местности, памятники, события, ритуалы, символы и традиции, составляющие многообразие французской национальной идентичности: Пантеон, Жанна д'Арк, Триумфальная арка, словарь Ларусса, Стена коммунаров и еще десятки других. «Способ, каким составленные из этих обломков фрагменты прошлого дошли до нас, -- говорит Нора, -- то, как они возникали, исчезали, дробились на части и вновь использовались, и является тем, что создало нас» [18]. Таким образом, главной задачей исследования, объединившего крупнейших историков Франции, стал поиск ответов на вопросы, злободневные для сегодняшнего французского общества: Что такое Франция? Что значит быть французом? Как менялись представления о Франции и французах во времени?

Наконец, третье понятие, национальная идентичность, наиболее неопределенное и противоречивое по причине его гораздо большей укорененности в общественно-политическом лексиконе, чем в научном.

Идентичность в данном случае понимается как социальная идентичность, то есть принадлежность человека к той или иной устойчивой группе людей. Эта принадлежность обычно считается фактом, если признается, с одной стороны, самим человеком, с другой, окружающими его людьми или обществом в целом. Долгие разъяснения здесь, впрочем,

едва ли требуются.

Национальный -- иной случай, поскольку это слово нагружено многообразными смыслами. Два из них наиболее очевидны: исходный смысл понятия «нация» может пониматься, во-первых, как общество и государство и, во-вторых, как тот или иной народ (этнос). В западноевропейских языках сегодня, безусловно, доминирует первый смысл, в современной России -- второй[19].

Особенности сегодняшнего российского понимания национальной идентичности обусловлены вполне конкретными историческими обстоятельствами. Хорошо знакомые каждому понятия «нация» и «национальность» вошли в наш политический, научный и повседневный лексикон в значительной мере благодаря российским социал-демократам, которые, как известно, были довольно хорошо знакомы с западной общественной наукой (преимущественно немецкой) конца XIX -- начала XX века. Принципиальное значение для введения в обиход этих понятий имела знаменитая статья «Марксизм и национальный вопрос», которая после победы большевистской революции превратилась не только в «азбуку» национального строительства, но и в важнейший инструмент укоренения новых понятий в русском языке[20].

Что касается понятия «национальность», то оно стало постепенно приобретать все большую значимость начиная с 1926 года, после того, как было внесено в опросный лист Всесоюзной переписи населения[21]. Тогда (впервые в нашей истории!) каждый житель СССР не просто услышал это слово из «уст» новых властей, но был обязан идентифицировать себя с той или иной национальностью/народностью. В итоге, государственная власть получила картину «национального состава населения СССР»[22], необходимую для выработки ею «национальной политики».

Введение в 1932 году в СССР паспортной системы с соответствующей графой окончательно сформировало и на десятилетия «зацементировало» советское понимание «национальности». Хотя и не сразу. Первоначально каждый гражданин СССР при получении паспорта был волен указать в графе «национальность» ту, к которой он сам себя относил независимо от места рождения, происхождения, вероисповедания, родного языка и других факторов. Однако очень скоро, по-видимому, уже с конца 1930-х годов, в СССР «национальность» стала пониматься почти исключительно как родство по крови. Никакой личной свободы в определении собственной идентичности не допускалось, знание языка, обычаев и тому подобное отходило на второй и третий планы, и именно родство по крови становилось важнейшим признаком принадлежности к той или иной «национальности» -- во всяком случае, именно указания на такое родство требовали различные инструкции, анкеты и повседневные практики. В общем, вполне можно согласиться с заключением, сделанным историками: в СССР «личная национальность стала исключительно вопросом крови»[23].

В постсоветское время такая картина «национальных общностей» и критерии их обозначения подверглись резкой критике со стороны российских ученых, и, вместо понятий «нация» и «национальность», в научный оборот стали вводиться принятые в мировой науке понятия «этнос», «этническая группа» и другие[24]. Однако трудности с овладением новым понятийным аппаратом и его использованием оказались серьезнее, чем ожидали ученые: в государственно-политической и широкой общественной практике обозначение этнических групп и понимание их природы в постсоветское время не претерпело серьезных изменений. Вот что писал в этой связи Валерий Тишков:

«Что стóит хотя бы первая строка нынешней Конституции: “Мы, многонациональный народ Российской Федерации”. Эти старые клише “многонациональности” из советских деклараций, когда за них не нужно было платить процедурой реализации, перекевали в совершенно новую политическую ситуацию более ответственных смыслов»[25].

В последнее время, впрочем, российские граждане все чаще сталкиваются с иной трактовкой своей «национальной идентичности»: как гражданства и, соответственно, понимания «нации» как российского общества и государства в целом. Например, когда заполняют визовую анкету, выезжая за границу, или слышат в средствах массовой информации о российских «национальных интересах», национальном проекте «доступное жилье» и так далее.

В заключение нужно подчеркнуть: поиски новой коллективной идентичности сегодня актуальны не только для России. Стремительно меняющийся мир настоятельно ставит задачу формирования новых национальных (а нередко и наднациональных) идентичностей, требуя преобразований существующих форм коллективной памяти. Из России особенно заметны такие преобразования в странах бывшего СССР, обычно болезненно у нас воспринимающиеся и обозначаемые как «переписывание истории» (особенно в Украине и Балтийских государствах). Но «переписывание истории» в той или иной мере наблюдается не только в постсоветском пространстве, но и во вполне «благополучных» странах. Упомянувшийся выше проект Нора исходил из вполне конкретной практической задачи конструирования новой французской идентичности. «Мы переходим от одной модели нации к другой»[26], подчеркивал Нора, в статье красноречиво озаглавленной «Как писать историю Франции?» и без ложной скромности добавлял, что его проект -- «ответ императивным требованиям момента, единственный, который соответствует сегодня состоянию науки и сознания»[27].

Как это ни может показаться удивительным, но задача обретения новой коллективной идентичности в высшей степени актуальна сегодня не только для «россиян», но и для англичан, немцев, американцев[28]. Для правительств, общественных и научных институтов стран ЕС особенно. Количество научных публикаций, конференций и исследовательских проектов (как правило, международных и междисциплинарных), в которых так или иначе присутствует идея «формирования» или «создания» новой европейской идентичности, сегодня не счесть. Речь в них идет об европейской политической и экономической интеграции, исчезновении государственных границ, миграционных процессах и, не в последнюю очередь, о необходимости новой наднациональной истории, соответствующей задаче строительства единой Европы[29].

Сегодня трудно представить, каковы будут конкретные результаты этих масштабных проектов. Больше того, не вполне ясно, в какой мере прислушиваются к экспертным мнениям историков политики и прислушиваются ли вообще. Скорее всего, историческое знание больше используется ими для достижения тех или иных сиюминутных результатов, чем играет какую-то самостоятельную роль. Но из этого едва ли следует, что историки так уж бесполезны для переустройства современного общества. Они могут, по крайней мере,

упрямо, с надоедливими подробностями и повторами рассказывать своим читателям о том, как создаются фантомы прошлого, как они использовались для достижения конкретных политических целей раньше и как используются сейчас.

[1] В этой связи полезно помнить, что такое структурирование времени не является универсальным. В японском языке, например, настоящее и будущее времена грамматически выражаются одинаково, поэтому можно сказать, что в нем есть только прошедшее и настоящее время.

[2] Можно добавить, что, помимо некоторых социальных и культурных обстоятельств, такое сплошь и рядом встречающееся смешение «прошлого» и «истории» обязано русскому языку (в немецком, например, «прошлое» и «историческое знание» обычно различаются, и для такого различения есть соответственно слова *Geschichte* и *Historie*). Русский язык, впрочем, в данном случае является, скорее, правилом, чем исключением, -- в английском и французском *history* и *histoire* также используются в обоих смыслах.

[3] Сказанное справедливо и по отношению к какому-нибудь отдельному его эпизоду (например, Октябрьской революции/большевистскому перевороту/революции 1917 года в России), и по отношению к прошлому человечества в целом -- в последнее время все чаще высказываются сомнения по поводу самой возможности создания единой мировой истории.

[4] Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 2002.

[5] Примечательно, что великий немецкий историк Древнего Рима Теодор Моммзен в 1902 году еще мог получить Нобелевскую премию по литературе.

[6] См. об этом также: Зарецкий Ю.П. Феодализм, исторический источник, история, наука: «модный» взгляд на старые вещи // Новые российские гуманитарные исследования. 2007. № 2 (www.nrgumis.ru/articles/article.php?binn_rubrik_pl_articles=189).

[7] См.: Iggers G. *Historiography in the Twentieth Century: from scientific objectivity to the postmodern challenge*. Hannover; London, 1997.

[8] См.: www.oslo2000.uio.no.

[9] Geary P.J. *The Myth of Nations: The Medieval Origins of Europe*. Princeton, 2002.

[10] Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003.

[11] Шенк Ф.Б. Александр Невский в русской культурной памяти. М., 2007.

[12] Там же. С. 10.

[13] См.: Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М., 2007.

[14] Гири П. История в роли памяти? // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 14. М., 2005. С. 116.

[15] См. на русском языке: Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004; Франсуа Э.«Места памяти» по-немецки: как писать их историю? // *Ab imperio*. 2004. № 1. С. 29--43.

[16]Гири П. История в роли памяти? С. 118.

[17]NoraP.(Ed.). *Les Lieux de mémoire*. Vol. 1--7.Paris, 1984--1992; сокращенный русский перевод: Франция -- память. СПб., 1999.

[18]Нора П. Как писать историю Франции? // Франция -- память. С. 92--93.

[19] Приведу для иллюстрации пример -- недавно рассказанный мне случай. Дело происходило в начале октября 2006 года в одном из немецких университетов на первой встрече только что принятых студентов первого курса, часть которых составляли иностранцы. Каждому присутствующему нужно было кратко представиться, то есть назвать свое имя и добавить пару слов о себе. Все шло рутинно, пока одна девушка не встала и не произнесла: «Я (такая-то). Я из Казахстана, но я русская» (*Ich komme aus Kasakhstan, aber ich bin Russin*). Тут же возникло недоумение, и присутствующие стали перешептываться, пытаюсь выяснить, что эти загадочные слова означают: какой же она все-таки национальности (то есть гражданкой какого государства она является)? Казахстана (=казашка)? Или все-таки России (=русская)? Или, может быть, у нее двойное гражданство? Какой-то особый статус? Смысл сказанного прекрасно поняла лишь одна студентка из России, находившаяся в аудитории и рассказавшая мне эту примечательную историю.

[20] См.: Особенности конституирования национальной и этнической идентичности в современной России. СПб., 1999; и в частности, статью: Сухачев В.Ю. Национальная идентичность -- теория и реальность // Там же. С. 30--37.

[21] Программа переписи включала 14 признаков. Помимо «национальности» (в переписном листе ее синонимом выступала «народность»), в эти признаки входили: пол, возраст, родной язык, место рождения, продолжительность проживания в месте переписи, брачное состояние, грамотность, физические недостатки, психическое здоровье, занятие (с выделением главного и побочного), положение в занятии и отрасль труда, для безработных -- продолжительность безработицы и прежнее занятие, источник средств существования (для не имеющих занятия).

[22] Всесоюзная перепись населения 1926 года. Национальный состав населения по республикам СССР // Демоскоп.ру (http://demoscope.ru/weekly/ssp/ussr_nac_26.php).

[23] Особенности конституирования национальной и этнической идентичности в современной России.С. 367. К сказанному необходимо добавить, что в официальной советской идеологии любые проявления национализма и расизма категорически осуждались.

[24] Следует заметить, что до перестройки понятия «этнос» в ходу не было. См.: Любимова Г.В. Изучение проблем этнической самоидентификации в отечественной литературе 1990-х годов (www.sati.archaeology.nsc.ru/Home/pub/Data/arj/?html=lubg.htm&id=1304).

[25] Тишков В.А. Забыть о нации (Постнационалистическое понимание национализма) // Вопросы философии. 1998. № 9 (цит по: www.portal.rsu.ru/culture/rostov.doc).

[26] Нора П. Как писать историю Франции? С. 89--90.

[27] Там же. С. 93. Следует добавить, что смелое и масштабное предприятие Нора стало впоследствии образцом для исследований о возникновении и переустройстве национальных идентичностей через образы памяти о прошлом, ведущихся в целом ряде европейских стран.

[28] В США, например, после краха идеи американского общества как «плавильного котла» и стремительного роста потока иммигрантов из стран Латинской Америки, тревогу забили ученые консервативного толка, увидевшие главную угрозу американской идентичности в потоке иммигрантов-латиносов и призвавшие к восстановлению англо-протестантского основания этой идентичности (см.: Huntington S.P. *Who Are We? The Challenges to America's National Identity*. New York, 2004).

[29] В качестве примеров участия историков в создании европейской коллективной памяти укажу на серию популярных монографий «Строить Европу» («Faire l'Europe») крупнейших ученых современности (с 1993 года она выходит под редакцией Жака Ле Гоффа и переводится на основные европейские языки) и на масштабный проект CLIOH, имеющий задачей преподавание и изучение европейской истории на всех уровнях, основываясь на наднациональном видении европейского прошлого (см.: www.stm.unipi.it/Clioh/indexold.html).